

А. А. ГИППИУС

**СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ПИСЬМА
В ДРЕВНЕЙ РУСИ**
(О книге: S. Franklin. *Writing, Society and Culture
in Early Rus, c. 950 — 1300. Cambridge, 2002*)

Английский медиевист Саймон Франклин имеет заслуженную репутацию одного из наиболее тонких и глубоких исследователей культуры домонгольской Руси. Широкому российскому читателю его имя знакомо в первую очередь по появившейся недавно в русском переводе книге «Происхождение Руси», написанной совместно с Дж. Шепардом [Франклин, Шепард 2000; первое издание: Franklin, Shepard 1996]. Среди специалистов высоко авторитетны и другие публикации ученого, представляющие собой образцовые анализы отдельных сторон и явлений русской средневековой культуры в их отношении к культуре Византии. Наиболее важные из них перепечатаны в вышедшем в серии «Variorum» почти одновременно с рецензируемой монографией в том же издательстве [Franklin 2003]. Новая книга С. Франклина тематически и концептуально связана с предыдущими работами и опирается на них. Предметом ее является письмо как одно из важнейших составляющих культуры.

Вынесенный на обложку снимок первой страницы найденного в 2000 г. Новгородского воскового кодекса начала XI в. одинаково воплощает в себе древность восточнославянской письменной традиции и стремительный прогресс новейшей археологии, за полстолетия решительно преобразивший картину ее начального этапа, какой эта картина представлялась на основе традиционных источников. Поток новых находок естественно выдвигает на первый план задачи публикации и изучения первичного материала. Но чем полнее и разнообразнее становится этот материал, тем более насущной делается необходимость в обзоре и концептуализации целого, каким, при всем ее размахе — от роскошных иллюминированных кодексов до непритязательных надписей на бытовых предметах — является письменная культура раннесредневековой Руси. Эту двойную задачу и решает рецензируемая монография. Ее первая часть содержит обзор различных типов и категорий древнерусского письма, представляя собой своеобразный путеводитель по ранней русской письменности; вторая складывается из очер-

ков, посвященных отдельным аспектам социальной и культурной динамики письма в Древней Руси.

Очертив во Введении к книге круг общих вопросов социокультурного изучения письма (письмо как техника и технология, письмо и грамотность, письмо и социальное изменение и др.), автор констатирует, что исследования по древнерусской культуре до сих пор оставались в стороне от бурно развивающихся в Европе и Америке 'literacy studies'. Симптоматично, что само слово *literacy*, в том значении, в каком оно здесь выступает, не имеет точного русского соответствия. В контексте истории культуры оно служит обозначением всей совокупности социальных и культурных явлений, связанных с использованием письма, всей сферы письменного в противоположность сфере устного (*orality*). Структурно эквивалентом *literacy* в этом значении может быть только *письменность* (а не *грамотность*, являющаяся словарным переводом английской лексемы), однако в русском языке данное понятие традиционно употребляется более узко, обозначая только саму систему письма и совокупность текстов, в этой системе записанных. В какой-то мере это можно было бы объяснить лингвистическими причинами: предметная семантика предполагается уже словообразовательной структурой русского *письмо*, в то время как его английское соответствие *writing* этимологически представляет собой глагольную форму. И все же ограничения на круг потенциальных значений лексем накладывает, конечно, не язык, а сложившаяся научная традиция, которая, как справедливо замечает С. Франклин, интересуется в основном письмом «как таковым», в отвлечении от социального и культурного контекста, в котором оно функционирует и воспринимается. Опыты более широкого социокультурного подхода к древней русской письменности предпринимались до сих пор лишь в отношении отдельных ее сфер и памятников. В книге С. Франклина данный подход впервые применяется к ранней восточнославянской письменной культуре в целом.

Хронологические рамки книги — с середины X по конец XIII в., то есть не столько «домонгольский», сколько «домосковский» и «долитовский», по выражению автора, период. В качестве общего этногеополитического термина автор употребляет слово *Rus*, используя его не только как существительное, но и как прилагательное. Для английского языка это удачное и «политически корректное» решение. Мы же, не мудрствуя лукаво, будем переводить прилагательное *Rus* как *древнерусский* или просто *русский*, по традиции употребляя это определение и применительно к Киевской Руси.

Первая, обзорная часть книги называется «Графическая среда» («Graphical environment»). Это ёмкое понятие вводится автором как обозначение всего графического аспекта окружающей человека действительности, всего что «пишется» в самом широком смысле этого слова, включая и неалфавитные, идеографически воспринимаемые формы письма, а при максимально широком толковании — и всякое изображение, трактуемое как «текст». Принципиальная антропоцентричность понятия графической среды делает

его удобным для описания древней письменной культуры «изнутри», с точки зрения ее носителей. В этом качестве графическая среда Древней Руси представляет собой, как пишет С. Франклин, «виртуальный» ландшафт и может быть лишь объектом реконструкции, осуществляемой на основе «письменных остатков» (written remains)¹.

Отправляясь с читателем на экскурсию по этому виртуальному ландшафту, С. Франклин справедливо отмечает, что исчерпывающий путеводитель по нему отсутствует. «Дело не в том, что вся территория не картографирована, но в том, что разные ареалы нанесены на разные карты, созданные на основе различных критериев» (р. 16). Задавшись целью обозреть древнерусскую графическую среду в целом, автор констатирует непригодность для этого существующих схем классификации: традиционного подразделения на «рукописи» и «надписи» и предложенной в [Щапов 1991] классификации письменных источников по типам на основе жанрового критерия (первого — из-за размытости понятия «надписи», определяемого негативно, как «не-рукопись», и покрывающего собой широкий спектр во многих отношениях разнородного письменного материала; второй — из-за противоречий в разнесении материала по рубрикам, спорности жанровых определений и т. д.).

Все карты, пишет С. Франклин, искажают в соответствии с принятой перспективой. В перспективе собственного исследования автор предлагает новую схему классификации, основанную на формах продуцирования письма или, иначе, на отношениях между самим письмом и предметом, на котором оно выступает. Согласно этой классификации, письмо подразделяется на три категории, которые автор условно («owing to unfortunate lack of lexical inspiration») обозначает как «первичное», «вторичное» и «третичное» письмо.

Первичное письмо находится на предметах, изготовляемых специально с единственной целью размещения на них письменного сообщения. К этой категории относятся в рассматриваемую эпоху пергаменные рукописи, берестяные грамоты и покрытые воском деревянные таблички (церы).

Предметы с вторичным письмом — это те, в которых письмо является существенной составляющей, но не главной целью изготовления предмета. Данная категория включает, например, монеты, печати, иконы и фресковые композиции с надписями и др.

Третичное письмо выступает на предметах, выполнявших некоторые функции и до появления на них письменного текста. Большая часть образцов такого письма может быть определена как граффити (как на стенах сооружений, так и на предметах — керамике и пр.).

¹ Заметим, что принятое в русской традиции понятие «письменный памятник» (которое, по необходимости, будем использовать и мы), отражает, вообще говоря, принципиально иной, «внешний» взгляд на вещи: «памятниками» остатки древней цивилизации являются лишь в глазах современного человека.

С. Франклин подчеркивает, что три категории письма представляют собой «не строго разграниченные территории, а смежные поля с иногда размытыми границами» (р. 20). На одном и том же предмете могут быть представлены одна, две или все три разновидности письма, примерами чего могут служить фреска с надписями (вторичное письмо) и процарапанными по ней граффити (третичное письмо) или пергаменная рукопись (первичное письмо) с содержащими надписи миниатюрами (вторичное письмо) и позднейшими маргиналиями (третичное письмо).

Забегая вперед, скажем, что эта трехчленная классификация представляется в целом весьма удачным изобретением автора, помогая уловить целый ряд существенных социокультурных параметров ранней русской письменности. Однако, если по отношению к бинарному делению на рукописи и надписи данная модель действительно выступает как более совершенная альтернатива, тем самым отменяя его и делая излишним, то в отношении жанровой классификации этого сказать никак нельзя. Несовершенство существующих классификаций письменных источников по жанрам или типам текстов означает лишь, что они нуждаются в доработке. Характер информации, заключенной в письменном памятнике, является такой же неотъемлемой характеристикой этого памятника, как и предметный «носитель» этой информации. Может быть, наиболее адекватной моделью древнерусской письменной культуры была бы модель, основанная на соотношении двух классификаций — типов письма (по С. Франклину) и усовершенствованной классификации типов текстов.

Предлагаемый далее обзор трех категорий древнерусского письма носит не чисто дескриптивный, но аналитический характер. Не ставя перед собой цели каталогизации материала (ссылки на каталоги, новейшие исследования и публикации даются в очень насыщенных сносках), автор, представляя каждую категорию, сосредоточивается на ее общих свойствах и месте в графической среде.

Обзор памятников первичного письма открывает раздел, посвященный пергаменной письменности — фактически речь идет почти исключительно о книгах. При наличии целого ряда высококлассных обзоров ранней русской книжности сказать о ней новое слово в жанре компендиума сложно. Кратко охарактеризовав распределение сохранившихся пергаменных книг по столетиям и содержательным разрядам и обсудив вопрос о степени репрезентативности сохранившейся части древнерусской «библиотеки», С. Франклин находит ее достаточно неплохим индикатором общей природы и охвата книжной культуры средневековой Руси. Характеризуя отношение последней к ее основному источнику — византийской книжности, автор следует ставшему уже классическим наблюдению Ф. Томсона, согласно которому репертуар переводной литературы Киевской Руси соответствует составу библиотеки среднего византийского монастыря. Остановившись на роли церкви как главного катализатора и попечителя книжной культуры (что

проявляется и в характере светского патронажа в данной сфере), автор интересно трактует вопрос о соотношении духовной и материальной ценности пергаменной книги. То, что книга была не по карману среднему горожанину, само по себе ни о чем не говорит, считает С. Франклин, поскольку книга на Руси не была «потребительским товаром для личного пользования», но обладала иным, несравненно более высоким культурным статусом. С другой стороны, характер использования средней древнерусской книги, на протяжении многих десятилетий читаемой вслух за богослужением или монастырской трапезой, расширял ее аудиторию до масштабов, сопоставимых с числом читателей книги современной, так что в расчете «на читателя» («слушателя») такая книга безусловно стоила затраченных на нее средств. Нельзя не учитывать и того, что покупалось за деньги: заказчик древнерусской книги «инвестировал» в собственное посмертное будущее, и в сравнении с таким «возвращением инвестиций» платимая цена была ничтожной.

Книгопроизводство не было на Руси единственной формой использования пергамента: он мог использоваться и использовался также в административной сфере, для написания документов. Отмечая, что общее число сохранившихся русских пергаменных актов XI—XIII вв. едва достигает дюжины, С. Франклин видит в этом свидетельство неразвитости административной документации на Руси в рассматриваемую эпоху, противопоставляя в данном отношении Русь Византии. «В Византии пергаменная письменность функционировала в трех главных контекстах, будучи связана с тремя (пересекающимися) институциональными структурами: Церковью, (высшей) образованностью и администрацией. Русь усвоила церковные институты вместе с соответствующими технологиями, но не заимствовала ни византийского высшего образования, ни — что было бы несравненно более сложным предприятием — византийских структур и методов администрирования». В силу этого, «письмо на пергамене было ассоциировано на Руси преимущественно, определенно, почти исключительно с церковной книжной культурой» (р. 35).

Возрастающая категоричность последнего утверждения кажется чрезмерной. Оставляя пока в стороне формальные документы, заметим, что говоря о «некнижной» пергаменной письменности, С. Франклин упускает из виду такую ее разновидность, как княжеская и вообще элитарная переписка (хотя в другом месте [р. 178] именно с ней автор предположительно связывает основную массу древнерусских вислых печатей домонгольского времени). Грамоты, которыми обменивались между собой Рюриковичи — а интенсивность такого обмена ярко иллюстрирует, например, письмо Владимира Мономаха к Олегу Святославичу, упоминающее сразу несколько княжеских грамот, — явно писались не на бересте. Общее количество таких грамот не могло не быть большим, чем число пергаменных книг, так что считать, что пергамен как писчий материал ассоциировался «почти исключительно» с церковной сферой, оснований нет. Что, по-видимому, дей-

ствительно всецело принадлежало этой сфере, служило ее эмблемой, символическим воплощением, — так это книга, кодекс как способ оформления письменного текста. Показательно в этом смысле, что единственная найденная до сих пор берестяная книжка (грамота № 449) содержит литургический текст.

В характеристике берестяной письменности С. Франклин делает упор на сравнении с двумя типологически родственными явлениями мировой письменной культуры²: позднеантичными египетскими папирусами и британскими деревянными табличками римского времени, в большом количестве обнаруженными при раскопках пограничной крепости Виндоланда в северной Англии. Содержательная и интонационная схожесть (доходящая до полной неразличимости) бытовой переписки жителей Новгорода и Оксиринха, иллюстрируемая приведенными вперемежку текстами (р. 35—36), производит впечатление даже на подготовленного читателя, оттеняя в то же время концептуально более существенные отличия между берестой и папирусом как материалами для письма. «Папирус был стандартным писчим материалом, тогда как береста — лишь одной из возможностей» (р. 41). Как материал для первичного письма папирус в позднеантичное время выполнял функции, которые на Руси делили между собой пергамен и береста. Сравнение его с одной лишь берестяной письменностью, таким образом, обманчиво, при всей его привлекательности.

Более близкие аналогии берестяным грамотам представляют виндоландские таблички. Эти аналогии касаются как общих социокультурных параметров родственных явлений, так и отдельных аспектов самой переписки. Пример Виндоланды показывает, в частности, что освоение письменной культуры бесписьменным населением может, при наличии соответствующих предпосылок, происходить быстро, без долгого подготовительного периода. При этом, как и в Новгороде, фактором, способствующим распространению письменной коммуникации, является высокая степень мобильности населения. Упоминается также замечательная особенность виндоландских табличек: большинство их распадается на две части: основной текст, написанный рукой писца, и заключительные приветственные формулы, написанные автором собственноручно. Следовательно, использование писцов совсем не обязательно объяснять неграмотностью автора. Это верно и в отношении берестяной переписки.

Разделы, содержащие обзор памятников вторичного и третичного письма, представляют особый интерес, во-первых, потому что новизна классификации С. Франклина заключается в первую очередь в противопоставлении этих двух типов, а во-вторых, потому, что само по себе совокупное аналитическое представление всех письменных материалов нерукописного

² Это перспективное направление исследований представлено также недавними работами [Факкани 1999; Факкани 2003; Миура 2003].

характера осуществляется здесь впервые. Значительная часть фактов, о которых идет речь в этих двух разделах, оставалась до сих пор достоянием частных археологических, эпиграфических, сфрагистических или нумизматических штудий, не попадая в орбиту общей истории письменной культуры. В книге С. Франклина они впервые предстают как части единой графической среды.

Как предметы со вторичным письмом С. Франклином рассматриваются: печати, монеты, змеевики, медальоны, резные каменные иконки, монументальные каменные кресты, кресты-энколпионы, литургическое серебро и ткани, предметы оружия и посуда, кирпичи с клеймами, стены церквей с фресками, мозаиками и каменной резьбой, иконы, церковные двери, миниатюры в рукописях.

Несмотря на такое разнообразие, произведения вторичного письма обладают рядом общих черт. Во-первых, тексты вторичной письменности как правило автореференциальны, то есть относятся к предмету, на котором они выступают. Во-вторых, большинство предметов со вторичным письмом несут на себе изображения, причем изображения христианские. В-третьих, образцы вторичного письма часто характеризуются текстуальной усложненностью или содержат ошибки (монограммы, смешение славянских и греческих букв, зеркальные начертания букв, псевдографика). Симптоматичное безразличие к подобным отклонениям С. Франклин объясняет тем, что вторичное письмо, появляясь при изображениях, выполняло функции не только и не столько текстуальные: оно было частью изображения и прочитывалось скорее как эмблема, идеограмма, чем как алфавитное письмо. Крайним проявлением этого является псевдографика, имитация письма, при которой письмо выступает эмблемой себя самого.

К числу произведений третичной письменности относятся: граффити на стенах храмов, монументальных камнях, керамической таре, серебряных платежных слитках, кубках, шиферных пряслицах, счетных бирках и деревянных цилиндрах, а также некоторых индивидуальных предметах, не образующих рядов. Все эти предметы автор подразделяет на две категории: недвижимые и движимые. Последние, при всем их разнообразии, относятся почти исключительно к сфере коммерции и обмена, и в этом смысле использование третичного письма отличается большой последовательностью. Отметив, что некоторые предметы с третичным письмом примечательны своими особенно ранними датами (надписи на амфорах, цилиндрах, счетных бирках), автор замечает, что эти предметы не являются продуктом координированного курса на распространение грамотности. «Ранние образцы третичного письма суть результаты индивидуальных несоординированных решений, признания, хотя и в довольно ограниченных пределах, того, что при торговле, обмене и сборе государственных податей славянское третичное письмо может оказаться полезным, облегчив ведение дел. Хронология сохранившихся свидетельств показывает, что третичное славянское письмо могло появиться на Руси раньше первичного и вторичного,

что в строго хронологических терминах третичное письмо было, так сказать, первичным» (р. 82).

Отдельный раздел посвящен языковому и алфавитному компонентам раннедревнерусской графической среды. В вопросе о языковой ситуации эпохи автор занимает взвешенную позицию, представляя ее как континуум языковых регистров, простирающийся от относительно чистого церковнославянского до диалектного восточнославянского и допускающий различные формы спонтанной и сознательной гибридации.

Говоря об азбуках, С. Франклин отмечает контраст между значительным варьированием графического состава древнерусской кириллицы и относительной стабильностью самих буквенных начертаний. Монополия устава в рукописях рассматриваемой эпохи объясняется тем, что письмо на Руси было слабо востребовано в тех контекстах (администрация и частная ученость), которые способствовали развитию таких форм беглого письма, как курсив и минускул.

Из неславянских компонентов древнерусской графической среды подробно охарактеризован греческий. Впечатление широкого присутствия греческого письма и языка в культуре Древней Руси возникает, считает С. Франклин, вследствие недифференцированного рассмотрения различных категорий свидетельств. Применение трехчленной классификации типов письма открывает существенно иную картину. Византийское первичное письмо, хотя и было известно на Руси, не получило здесь сколько-нибудь значительного распространения. Постоянным и существенным компонентом графической среды было вторичное греческое письмо, однако динамика его использования была различной для двух категорий надписей. «Надписи-сообщения» (*message-inscriptions*) на печатях, в мозаичных и фресковых композициях и др. переживают всплеск моды в середине XI в., а затем быстро сходят на нет, тогда как греческие подписи (*captions*) при христианских изображениях сохраняются на протяжении всего периода. Последние, однако, являются по существу элементами иконографии, не предполагая действительного знакомства писавших с греческим языком. Таким образом, масштабы присутствия на Руси греческого письма и, особенно, активной реакции на него оцениваются С. Франклином как незначительные, особенно по сравнению с соседней Болгарией, где характер рецепции византийской письменной традиции и культуры в целом был качественно иной. В то же время автор не разделяет концепции пресловутого «интеллектуального молчания Древней Руси» и, допуская участие русских книжников в пополнении корпуса славянских переводов с греческого, объясняет невосприимчивость Руси к византийской высшей образованности не языковым барьером (который вовсе не был непреодолим), а сознательной культурной установкой (более подробное об этом см.: [Франклин 2002]).

В последующих разделах собраны свидетельства знакомства Руси с другими неславянскими письменными традициями (в первую очередь латинс-

кой и скандинавской рунической, но также арабским куфическим письмом, тюркскими рунами и еврейским письмом). Обзор этих свидетельств создает картину языковой и «алфавитной» гетерогенности восточнославянской графической среды, особенно важную для древнейшего периода, когда славянское письмо присутствовало в этой среде лишь на правах одного, причем не доминирующего компонента.

В заключающем первую часть книги разделе «Изменяющаяся среда» («The changing environment»), автор прочерчивает общие контуры хронологической динамики распространения письма на восточнославянской территории с конца VIII — начала IX в., когда образцы алфавитного письма начинают проникать на территорию будущей Руси, до конца XI в.

Ранние образцы славянского письма на Руси, отмечает С. Франклин, связаны с теми же типами активности, что и современные им образцы других азбук: это торговля, ремесло, сбор дани, обмен. Хотя славянское письмо было создано в миссионерских целях, к десятому веку употребление его в Болгарии вышло за пределы церковной сферы, так что христианизация не составляла необходимой предпосылки для контакта с ним восточных славян и начала его активного использования на Руси. Диффузность письменных свидетельств, сохранившихся от 930-х гг. до середины XI в., показывает, что к концу X — нач. XI в. кириллическое письмо было уже не просто спорадическим экспериментом, доступным лишь посвященным, но привычным и знакомым явлением в городских экономических и торговых контекстах. Это, по мнению автора, лишает официальное крещение Руси в 988 г. значения эпохального для истории русской письменности события, которое ему обычно приписывается. Распространение христианства было главным катализатором экспансии славянского письма, однако значимым было постепенное распространение веры, а не одномоментный акт Владимира.

Намного более важным рубежом в ранней истории письма на Руси автор считает середину XI в. «Во всех трех категориях письма середина XI в. составляет некий невидимый барьер. По одну сторону от него прямые свидетельства местного письма спорадичны и скудны; по другую — они сильны, продолжительны и с течением времени становятся изобильны» (р. 123). К концу XI в. древнерусская графическая среда, бурно эволюционировавшая на протяжении второй половины столетия, приобретает форму и характерные черты, составившие фундамент ее дальнейшей эволюции.

В разделе «Письмо и социальная организация», которым открывается вторая часть книги, анализируется распространение письма в административной сфере. Динамика этого процесса, как показывает автор, была различной в разных социальных контекстах и для разных типов административной письменности. Последнее понятие автор трактует широко, включая в него и то, что в англоязычной литературе иногда обозначается как *practical writing* или *pragmatic writing*, а в русской — как *деловая письменность*.

Административное письмо С. Франклин подразделяет на две категории: «нормативное» (*normative administrative writing*) и «контингентное» (*contingent administrative writing*). Первое устанавливает основания регуляции социальных отношений, складываясь из законов и списков правил; второе является частью процесса этого регулирования, фиксируя отдельные события, транзакции и решения³. Контингентное административное письмо в свою очередь подразделяется на а) «формальное» и б) «эфемерное». Формальное контингентное письмо является неотъемлемой составляющей самого акта, который оно фиксирует, необходимым условием, требуемым для признания этого акта действительным; продуктом такого письма становятся административные документы. Эфемерное контингентное письмо может сопровождать или облегчать заключение сделки, но не обладает специальным статусом как компонент этой сделки, не является частью юридической процедуры.

Предваряя выводы раздела, С. Франклин следующим образом характеризует динамику распространения названных видов административного письма. «Нормативное административное письмо было с самого начала инструментом саморегуляции жизни Церкви, но лишь постепенно распространялось за пределы ее собственной сферы, как в церковных правилах для мирян, так и в светской сфере. Эфемерное контингентное письмо довольно быстро было принято в широком кругу частных и публичных контекстов. Формальное контингентное письмо (административная документация) периодически появлялось на периферии, но вторжение его в сферу традиционно бесписьменных процедур было очень ограниченным. Только к концу периода, во второй половине XIII в. появляются признаки заметного сдвига в сторону развитой документальной практики» (р. 132).

Анализ путей и форм освоения Русью административных возможностей письма С. Франклин начинает с активно обсуждаемой в последнее время проблемы древнерусской рецепции византийского правового наследия. Солидаризируясь с Л. Бургманном [1992] в критике известной концепции В. М. Живова [1988]⁴, противопоставляющего в древнерусской ситуации недействующее, но обладающее высоким культурным статусом переводное византийское право, и действующее, но находящееся вне сферы культуры автохтонное обычное право, автор настаивает на более нюансированном подходе. В действительности, считает он, на Руси в отношении византийского законодательства «имела место шкала реакций: на одном конце —

³ Английское прилагательное *contingent* не имеет точного русского соответствия и в современной социологической литературе обычно оставляется без перевода. «Контингентное» обычно противопоставляется «системному» как исторически и культурно уникальное, связанное с конкретной ситуацией. В этом смысле *contingent administrative writing* можно было бы перевести как *конкретно-административная* или *ситуативная административная письменность*.

⁴ См., впрочем, ответ на эту критику в [Живов 2002].

активная рецепция, влекущая за собой большие изменения в реальном поведении, на другом — полное отторжение, с переходной зоной посредине. Там, где не было специального стимула ломать традиционные отношения и изменять устоявшиеся модели социальной организации и поведения, не было и стимула переводить управление на новую технологию, использовать своды письменных правил, тем более — написанных для другой среды. Наиболее слабый административный отклик импортированное законодательство получило в осуществлении светского управления в светской среде, самый сильный — в регламентации самодостаточных церковных институтов» (р. 143).

Двигаясь «сверху вниз» по этой рецептивной шкале, автор дает характеристику ряда «текстовых сообществ», с большей или меньшей жесткостью связанных общим восприятием (или не-восприятием) определенных разделов византийского права.

Как образец «замкнутого текстового сообщества» рассматривается общежительный монастырь в отношении к собственному уставу — уже здесь намечается зазор между предписаниями импортированного нормативного свода правил и практикой, вынужденной приспособляться к местным особенностям. В сфере деятельности Церкви этот зазор центробежно возрастает в системе, образуемой тремя кругами социокультурных отношений: 1) регуляция деятельности институтов самой Церкви («диффузное текстовое сообщество»); 2) пастырское служение Церкви («открытое текстовое сообщество»); 3) ее «внешние» отношения как экономического и юридического субъекта.

В последней из этих трех сфер наблюдается уже не просто отступление от норм импортированного письменного законодательства, но взаимодействие этих норм с другими, имеющими местное происхождение. Плоды этого взаимодействия — уставы Владимира и Ярослава — автор расценивает как «гибриды, в которых предпринята попытка соединить две различные традиции, сформировав таким образом отдельную сферу регулируемого правилами действия на пересечении импортированных норм и местного обычая» (р. 154).

Появление письменного светского законодательства — Русской Правды — охарактеризовано как «колонизация обычая законом», в ходе которой все больше аспектов жизни все большего числа людей попадает в сферу действия письменных правил. Автор очень верно замечает, что подлинный статус Русской Правды в ранний период ускользает от понимания: непонятно, кто располагал ее списками, каким образом применялись ее нормы, насколько широко был известен сам факт ее существования. Берестяные грамоты сообщают о некоторых судебных решениях, соответствующих нормам Русской Правды, но оставляют неясным, были ли юридические процедуры таковы в силу действия письменного законодательства или же само это законодательство фиксировало действующую практику, опирающуюся на авторитет княжеской власти. Более вероятным автор считает второе. Хотя

Русская Правда и приобретает к концу XIII в. некое подобие «конституционной ауры», сама идея письменного основания княжеского управления остается в рассматриваемую эпоху чуждой древнерусскому обществу. Исключение, впрочем, весьма значительное, составляет в XIII в. Новгород, где княжеская власть осуществляется на основе договора.

Светская сфера оказывается в данном отношении зеркальной противоположностью церковной. Идея письменного авторитета присуща самой христианской вере и заложена в институциональной природе Церкви. Сколь бы опосредованным и вольным ни было применение на практике норм византийского церковного права, верховный авторитет писаного закона, стоящий за конкретными решениями церковных иерархов, признавался всеми. Положение в светской сфере было обратным: письмо не было сущностно связано с идеей княжеской власти, которая и в христианскую эпоху вполне могла осуществляться и без его использования. Если же такое использование имело место, оно носило вторичный и вспомогательный характер: за авторитетом письменных текстов стоял авторитет князя. И хотя по мере разрастания и распространения Русской Правды сфера регулируемой письменными правилами активности все более расширялась, ничто не говорит, считает С. Франклин, о существовании «широкого текстового сообщества», которое определялось бы принятием письменного княжеского законодательства, т. е. какого-либо эквивалента византийскому понятию «законной власти» (*ennomos arche*), не говоря уже о *ennomos politeia* («законном государстве»).

Следующий раздел прослеживает динамику распространения на Руси контингентного административного письма, он посвящен формальной документации и ее соотношению с другими формами «практического» письма. Широко понимая «административное», автор, напротив, предельно узко трактует «документальное», отождествляя его с формальным делопроизводством, осуществляемым при помощи бюрократического аппарата. Антитезой понимаемому таким образом документу является «эфемерное» административное письмо — факультативный спутник разного рода практической активности. Его широкая распространенность на Руси с начала письменной эпохи лишь оттеняет, как показывает С. Франклин, глубокий консерватизм древнерусского общества в отношении формального административного потенциала письменной технологии. Причину этого исследователь видит в относительной гибкости и стабильности традиционных устных форм социального контроля.

Постепенное появление начатков официальной документации автор прослеживает, отдельно рассматривая сферы внешней и внутренней дипломатии и внутреннего управления. В первой им подчеркивается «технологическая реактивность» Руси, скорее отвечающей на требования письменных документов со стороны партнеров, чем активно осваивающей эту практику в собственных целях. Говоря о внутренней дипломатии, автор отмечает особый статус упоминаемых летописями «крестных грамот», скреплявших кня-

жеские союзы, преобладание в них ритуального аспекта над документальным: в данном случае документ утверждает совершенный ритуал, а не ритуал скрепляет документ.

Распространение формальной документации в сфере внутреннего управления С. Франклин связывает с консолидацией письменных административных практик в Церкви и вокруг нее. Все сохранившиеся в подлинниках и списках формальные документы XII в. касаются пожалований Церкви или монастырям. Надежные свидетельства чисто светской документации появляются лишь ближе к середине XIII в. Признавая, на основании косвенных свидетельств, что какие-то элементы формальной документации частного характера существовали и в более раннее время, автор констатирует вместе с тем, что и к концу XIII в. она не стала обязательной в сколько-нибудь заметном кругу транзакций. Более регулярный характер древнерусская бюрократия приобретает уже за пределами хронологических рамок книги.

По необходимости коротко охарактеризуем остальные разделы. В главе «Письмо и ученость» («Writing and learning») автор довольно подробно излагает филологические воззрения ранних славянских книжников на природу алфавитного письма и проблемы перевода, но при этом констатирует, что Русь осталась в стороне от обсуждения этих проблем. Более «исторический», чем «филологический» интерес древнерусских книжников к славянскому письму объясняется тем, что для Руси, в отличие от Болгарии, алфавитное письмо было уже данностью, фактом славянского христианского наследия, а не животрепещущей новостью, актуальным предметом ученого исследования или полемики.

В главе «Письмо и изображения» («Writing and pictures») читателю предлагается совершить виртуальную экскурсию по древнерусскому храму как главному средоточию письменной культуры. Обозревая различные виды письма, представленные в этой «мультимедийной среде», автор констатирует, что письмо на Руси могло сопутствовать только «христианским» в широком смысле изображениям. В то время как в раннехристианском мире и Византии освоение изобразительного наследия античности проходило часто путем смены надписей при изображениях, на Руси наличие надписи само по себе маркировало изображение как христианское. В сферу автохтонной нехристианской культуры доступ письму был практически закрыт.

Дальнейшее развитие этот тезис получает в главе «Письмо и магия». В древнерусских письменных текстах магического характера автор с полным основанием видит не отражение «двоеверия», но ассимилированные на восточнославянской почве письменные формы христианской магии, импортированные вместе с христианством. В собственно древнерусских языческих практиках письмо никогда не употреблялось. Отмечается также, что письмо как таковое на Руси, за редкими исключениями, не становилось объектом эзотерического использования — для этого оно было слишком доступно.

В Послесловии автор бросает общий взгляд на социальную и культурную динамику ранней русской письменности. Формирование на Руси местной модели письменной культуры, заключает С. Франклин, не было систематическим освоением полного спектра «теоретических» возможностей письменной технологии; в то же время оно не представляло собой и простой трансплантации византийской или болгарской модели. Логика этого процесса определялась внутренней социокультурной динамикой самого древнерусского общества.

С. Франклин называет два главных катализатора распространения письма на Руси — Церковь, с одной стороны, и финансово-коммерческую и административную деятельность, с другой. Соотношение этих двух сфер, в которых письмо закрепилось очень рано, было несимметричным. Церковное письмо имело своим основанием институции: основанная на Писании, Церковь несла с собой письмо, усиленно внедряя его в ведении собственных дел. «Коммерческое» письмо имело своим основанием активность, спонтанную деятельность, оно составляло практическое удобство, а не институциональный императив. Оппозиция «письма, основанного на институциях» (institution-based) и «письма, основанного на активности» (activity-based), только первоначально совпадала с оппозицией церковного и светского; с течением времени очертания ее меняются. Хотя книжная культура в целом остается институциональной прерогативой Церкви, отдельные ее элементы мигрируют в менее формальные светские контексты, а клирики деятельно участвуют в бытовой переписке. С другой стороны, в результате письменной фиксации светского законодательства и зарождения формальной документации происходит и *институционализация* светского письма, масштабы которой остаются, однако, незначительными до второй половины XIII в. Два типа письма распространяются, таким образом, во встречных направлениях: «письмо, основанное на институциях» — «сверху вниз», а «письмо, основанное на активности» — «снизу вверх». Это встречное движение и определяет собой динамическую модель древнерусской письменной культуры в понимании С. Франклина.

Довольно подробный обзор содержания монографии С. Франклина избавляет от необходимости отдельно распространяться о значении и ценности этого труда: они очевидны. Перейдем поэтому к критическим соображениям, которые не может не вызывать этот первый в своем роде опыт социокультурного анализа ранней русской письменности как динамического целого. Наши замечания относятся прежде всего к хронологическому аспекту нарисованной С. Франклином картины, хотя и не только к нему.

Как мы видели, решающее изменение характера древнерусской графической среды С. Франклин относит к середине XI в. «After its long gestation period, writing proliferated rapidly from the middle of the eleventh century» (р. 275). «Долгий период вызревания», тянущийся с середины предыдущего столетия, автор рассматривает в целом, не разделяя его на «дохристиан-

скую» и «христианскую» части, как это делает, следуя устоявшейся традиции, А. А. Медынцева в недавней монографии [Медынцева 2000]. По мнению С. Франклина, «свидетельствуемая сохранившимися данными модель использования письма спустя полстолетия после официального крещения фундаментально не отличается от модели его использования за полстолетия до крещения. Около 988 г. не пролегает никакой видимой разделяющей черты» (р. 122—123). Но так ли это?

Поскольку акт Владимира и его прямые следствия — учреждение митрополии и епископских кафедр, строительство кафедрального собора в Киеве — создавали очевидные предпосылки для «институционального» распространения письма, естественно, пока не доказано обратное, доверять Начальной летописи и исходить из того, что 988 г. действительно стал точкой отсчета новой эпохи в истории письма на Руси. Доказательством обратного может быть только одно: наличие относящихся к периоду до 988 г. однозначных свидетельств употребления письма в тех же контекстах, где оно фиксируется в последующий период. Понятно также, что предметы с размытыми археологическими датировками типа «последняя четверть X в.» или «конец X в.» непоказательны, так как, исходя из той же презумпции, следует предполагать принадлежность их уже «христианской» эпохе.

Отфильтрованный таким образом круг упомянутых в обзоре С. Франклина свидетельств «практического» письма на Руси, относящихся ко времени до 988 г., включает всего четыре предмета: это Гнёздовская надпись, печать Святослава Игоревича и новгородские деревянные цилиндрические бирки (цилиндры) № 6 и 7, предположительно датированные 970—980 гг. Достаточно ли этого, чтобы говорить об освоении славянского письма в практических контекстах в эпоху до официального крещения? Если бы трактовка названных свидетельств как восточнославянских надписей указанной эпохи была абсолютно надежной, ответ на этот вопрос, по-видимому, должен был бы быть утвердительным. Однако достоверность такой трактовки в каждом из четырех случаев вызывает серьезные сомнения.

Что касается Гнёздовской надписи, то, как справедливо заключает А. А. Медынцева, разобрав все предложенные до сих пор трактовки [2000: 31, 246], с уверенностью считать ее кириллической невозможно: хотя записанное слово (скорее всего, притяжательное прилагательное *Гороуня*) несомненно славянское, письмо может быть и греческим. С другой стороны, погребение, из которого происходит амфора, в настоящее время с уверенностью характеризуется как скандинавское. Автор последней публикации на данную тему констатирует, что «погребенный принадлежал к числу «русов», совершавших военные и торговые экспедиции в Византию. (...) Видимо, амфора с уже процарапанной надписью была куплена или захвачена в Причерноморье во время одного из таких походов» [Нефёдов 2001: 66]. Если так, то гнёздовское граффито вполне может представлять собой памятник болгарской, а не древнерусской эпиграфики.

Атрибуция печати Святослава Игоревича основывается на княжеском знаке, а не на надписи, которая прочтению не поддается. Даже угадывая в ней, вместе с Н. П. Лихачевым, буквы СТЛА, нет оснований считать надпись кириллической, а не греческой (последнее теоретически даже более вероятно, учитывая, что печатей от русских князей требовала, согласно договору 944 г., Византия). В любом случае, полноценного «противовеса» первым «христианским» печатям Святополка, Ярослава и Глеба Владимировичей печать Святослава в графическом отношении не составляет, и рассматривать эти памятники в одном ряду, как это делает С. Франклин (р. 124), не следует.

Наиболее сложно, можно сказать драматично, обстоит дело с новгородскими цилиндрами. Надпись на цилиндре № 6, представляющая собой записанную кириллицей полноценную славянскую фразу, до самого последнего времени служила главным (а по сути дела — и единственным) свидетельством использования на Руси кириллического письма в административных целях до официального крещения. Именно этот памятник в первую очередь создает впечатление хронологической диффузности свидетельств «практического» письма до и после 988 г. Между тем археологическая датировка цилиндров №№ 6 и 7 очень широка (между 973 и 1051 гг.), и отнесение их к самому началу этого интервала зиждется исключительно на гипотетической атрибуции княжеских знаков Ярополку и Владимиру Святославичам. Хотя обоснованные сомнения в справедливости такой атрибуции высказывались и ранее [Белецкий 1997: 144—145], особенно серьезны они стали после открытия в 1999 г. на Троицком раскопе, в непосредственной близости от места находки цилиндров № 6 и 7 обширного комплекса из 38 таких же цилиндров XI — первой четверти XII в. Из них только один — № 59 — происходит из напластований первой половины XI в., остальные же относятся к более позднему времени (см. каталог: [Янин 2000: 93—150]). Установленная благодаря новым находкам стандартная структура надписи на цилиндрах позволила по-новому прочесть и надпись на цилиндре № 6. Что же касается датировки двух цилиндров концом X в., то по этому поводу В. Л. Янин пишет: «Отсутствие других аналогичных находок столь раннего времени, как будто, переносит цилиндры №№ 6 и 7 в контекст несколько более позднего времени, хотя формально хронологические рамки их датирования по-прежнему замыкаются между 973 и 1051 гг.» [Янин 2000: 61]⁵.

⁵ Р. К. Ковалев [2003а: 60], цитируя это наблюдение В. Л. Янина, остается все же при ранней датировке цилиндров №№ 6 и 7. Исследователь исходит при этом из факта тождественности княжеского знака на цилиндре № 7 знаку на бирке-сорочке № 1, найденной относительно недалеко от места находки цилиндров в слое второй половины X в. На мой взгляд, очевидные различия между двумя знаками [ср. Ковалев 2003б: 37; Янин 2000: 115] препятствуют их отождествлению. Заметим также, что фигура на цилиндре № 7, трактуемая как княжеский знак Ярополка Святославича, скорее всего, как видно на рисунке [Янин 2000: 115, вверху], сохранилась час-

При всей осторожности этой формулировки, вывод, вытекающий из нее, вполне однозначен: как надежные памятники «дохристианской» древнерусской письменности новгородские цилиндры более рассматриваться не могут. Вместе с ними и сама эта письменность отходит в область «виртуального». Если такая письменность и существовала, поиск ее памятников придется начинать с нуля.

Совсем иная картина наблюдается по другую сторону от 988 г. Здесь славянское письмо появляется сразу, тиражированное и декларированное на монетах Владимира в качестве важной составляющей новой идеологической и культурной программы. Вместе с печатями Владимировичей первые русские монеты весьма внушительно представляют «вторичную» письменность новой христианской Руси, в то время как первые бесспорно кириллические граффити и надписи на долговых бирках, появляющиеся с конца X в., дают наконец надежные образцы «третичного» письма. С сенсационной находкой Новгородского воскового кодекса реальностью сделалась и книжная культура этой эпохи. В свете этих материальных свидетельств почву под ногами обретают и гипотезы, возводящие к концу X и началу XI в. протографы первоначальных редакций Устава Владимира и Русской Правды, первые шаги древнерусской агио- и гимнографии, летописания.

Таким образом, официальное крещение Руси представляется нам не «эмблематической» датой, искусственно членящей долгий период «вызревания» русской письменности, а вполне реальным ее началом. Понятно, что, считая таким образом, мы не можем согласиться и с тезисом С. Франклина об опережающем, по сравнению с развитием церковного, книжного письма, распространении на Руси «коммерческого» письма и его независимом, в рамках древнерусской ситуации, генезисе. Хотя к середине X в. кириллическое письмо у южных славян давно вышло за рамки церковной сферы, возможность первоначального восприятия его Русью из нецерковных, коммерческих контекстов кажется а priori сомнительной. Для самих южных славян использование письма в этих контекстах составляло периферию письменной культуры, побочный продукт обучения грамоте, носившего, как и впоследствии на Руси, катехитический характер и осуществлявшегося на основе Псалтыри. Теоретически, конечно, можно представить себе русского купца середины X в. осваивающим кириллическую азбуку по надписям на болгарских амфорах как идеологически нейтральную технологию, облегчающую ведение коммерческих операций. Но так ли велика была эта коммерческая выгода, и стоила ли игра свеч? Более реалистично было бы связать древнейшие (до конца X в.) свидетельства «практического» использования славянского письма на Руси с начальным распространением на ее землях христианства. Но, как мы уже видели, в этом нет необходимости: надежные свидетельства такого рода просто отсутствуют.

точно и с большей вероятностью может представлять собой не княжеский знак, а фрагмент изображения меча, часто встречающегося на цилиндрах.

Как массовое явление, каким оно становится в XI в., «практическое» письмо является на Руси не продолжением тянувшейся с середины X в. автономной светской письменной традиции, а таким же, как в свое время в Болгарии, «побочным продуктом» развития книжной культуры. В этом отношении чрезвычайно показательным, что Новгородский восковой кодекс — сколь бы уникальной ни была эта находка — хронологически почти на четверть века опережает появление первых берестяных грамот. Палеография и орфография последних также со всей определенностью говорят о том, что их писали люди, которых учили читать (а кого-то — и переписывать) церковные книги. Важно также, что береста как писчий материал впервые фиксируется отнюдь не в коммерческой или административной сфере: древнейшие из найденных к настоящему времени берестяных грамот славянского происхождения — это азбука (№ 591, 30-е гг. XI в.) и иконка (№ 915 И, с датой — 1028 г.). Можно думать, что началу «практического» письма на бересте предшествовало его использование в околочерковной сфере, в частности — при обучении грамоте.

С. Франклин безусловно прав, подчеркивая спонтанный характер светского, коммерческого и административного письма, противопоставляющий его институциональной по своей природе церковной письменности. Важно только заметить, что письменный навык как таковой, используемый в этой спонтанной активности, был получаем в процессе элементарного церковного образования, и в этом смысле прогресс «практического» письма был институционально обусловлен. В предисловии к книге С. Франклин говорит о письме как технике и технологии (р. 3—5); рассуждая в этих терминах, можно сказать, что спонтанное применение письменной технологии в нецерковной сфере опиралось на институциональное в своей основе распространение техники письма (и чтения).

Соблазнительно думать, что именно в этом кроется объяснение внезапного появления берестяных грамот почти полвека спустя после крещения Руси. Этот скачок, как убедительно показывает С. Франклин, коррелирует с общим всплеском письменной активности, приходящимся на середину XI в. Исследователь связывает это качественное преобразование древнерусской графической среды с обозначившимся к середине XI в. реальным укреплением христианства и его институтов, а также с бурным ростом городского ремесленного производства. Представляется возможным более конкретно указать обстоятельство, опосредующее связь между общими успехами христианизации и рывком в развитии «практической» письменности в городской среде.

Для того, чтобы этот рывок произошел, нужно было, чтобы выросло поколение грамотной элиты, и в случае Новгорода мы, по-видимому, знаем, как это произошло. Я имею в виду следующее сообщение, читаемое в летописях Новгородско-Софийской группы под 1030 г. «Сем же лѣтъ идѣ Ярослав на чюдѣ и побѣдѣ а, а постави градъ Юрьевъ. И приидѣ к Новоугороду. И събра отъ старость и отъ поповъ дѣтеи 300 оучити книгама. И пре-

стави[ся] архієпископъ Акімъ; и бѣше оученикъ его Ефреъмь, иже ны оучаше» [ПСРЛ 4, 113]. С. Франклин не упоминает этого известия, считая его, видимо, ненадежным. Однако оснований не доверять ему — не больше, чем известно ПВЛ о начале книжного обучения при Владимире. Данное сообщение не имеет ничего общего с историографическими вымыслами XVI—XVII вв. и, тем более, с фальсифицированными В. Н. Татищевым многочисленными сведениями о древнерусских «училищах». Оно находится в ряду других не имеющих соответствий в ПВЛ известий Новгородско-Софийской группы летописей за XI в., отличающихся большой конкретностью и нетенденциозностью. Слова «иже ны оучаше» придают этой записи особую ценность как свидетельству от первого лица, принадлежащему одному из учеников, севших за парты в 1030 г. по приказанию Ярослава. К этой генерации первых новгородских школьников могли принадлежать и поп Упырь Лихой, переписавший в 1047 г. для князя Владимира Ярославича Толковых пророков, и писец Остромирова евангелия дьякон Григорий, но также и авторы первых граффити в новгородской Софии и первых берестяных грамот⁶.

Ретроспективно новгородская акция Ярослава (а нечто похожее, надо думать, имело место и в других центрах Руси) выглядит репликой аналогичной акции Владимира, который, как известно по ПВЛ, сразу после крещения, «пославъ, нача поимати оу нарочитое чади дѣти и даяти нача на оученье книжное» [ПСРЛ 1: 118—119]. Этот параллелизм кажется отражающим общее соотношение двух «волн» распространения письма, какими в свете наших рассуждений выглядят письменность эпохи Владимира (после 988 г.) и письменность эпохи Ярослава. Первая волна, поднятая крещением Руси (которое мы продолжаем рассматривать как эпохальное для истории русской письменности событие), хотя и прошла далеко не бесследно, не привела к формированию устойчивой письменной традиции; для этого потребовалась вторая, намного более мощная. В тени этой второй волны результаты первой могут показаться диффузными следами длительного периода «вызревания»; однако бóльшая хронологическая компактность, обнаруживаемая ими в свете последних открытий и уточненных археологических данных, склоняет к предположению дискретного характера процесса. Сохранившиеся письменные свидетельства могут быть распределены между двумя «волнами»: так, древнейшие русские монеты, печати сыновей Владимира и Новгородский кодекс относятся к первой, а первые берестяные грамоты и надписи на цилиндрах — ко второй.

⁶ В связи с летописным известием о школьном обучении на Руси при Ярославе представляет интерес уникальное свидетельство «Саги об Ингваре Путешественнике», сообщающей, что сын героя саги (современника Ярослава), находясь на Руси, посещал там школу, где научился говорить на языках, распространенных по Восточному пути [Глазырина 2002: 32, 264]. Благодарю Ф. Б. Успенского за данное указание.

Другой хронологический рубеж, обсуждаемый в книге С. Франклина, затрагивает лишь один, но очень важный аспект письменной культуры — формальное использование письма в административных целях. В этом отношении письменная ситуация, оформившаяся к концу XI в. и в остальных ее параметрах остававшаяся стабильной на протяжении двух последующих столетий, претерпевает качественное изменение. В том, что оно действительно имело место, сомневаться не приходится: небюрократический характер раннедревнерусского общества был убедительно продемонстрирован автором в принципиально важной работе [Franklin 1985]. Предметом дискуссии могут быть лишь хронологические параметры этого изменения. По С. Франклину, оно носило характер рывка: решающий сдвиг в сторону систематического использования формальной документации автор относит к середине — второй половине XIII в. Представляется, что динамика этого процесса была более сложной.

Свидетельством бурного роста документальной активности в середине XIII в. может служить, казалось бы, комплекс новгородских актов 1260-х гг.: договор с Новгородом Ярослава Ярославича (сохранившийся в нескольких вариантах, ГВНП, №№ 1, 2, 3), договор с Западом Александра Невского 1259—1263 гг. (ГВНП, № 30), грамота о свободном проезде немецких купцов «по Менгу-Темирову слову» (ГВНП, № 30), устав князя Ярослава «о мостех» [ДКУ: 149—152]. При ближайшем рассмотрении, однако, можно констатировать, что три из четырех документов этого комплекса имеют свою предысторию. В последнем из названных текстов временем Ярослава Ярославича датируются интерполяции [Янин 1991: 146—147], которые могли быть сделаны только в уже существовавший к этому времени текст. Договору с немцами 1263 г. предшествовала грамота 1191—1192 гг., копию которой он включает и в которой в свою очередь упоминается более ранний мирный договор (*подтвердихомь мира стараго*). Договор с Новгородом заключал уже Ярослав Всеволодович в 1229 г., причем, возможно, не первым: согласно летописи, князь целовал крест Новгороду «на всех грамотах Ярославлих» [НПЛ: 68]. Как бы ни трактовать эти «Ярославли грамоты», они явно составляли сложившийся к 1230-м гг. комплекс документов. Под 1209 г. упоминаются «уставы старых князь» [НПЛ: 50], подтверждения которых новгородцы требовали от Всеволода III. Одним из таких уставов мог быть так называемый «Устав великого князя Всеволода» [ДКУ: 153—157]. С. Франклин, опираясь на точку зрения Я. Н. Щапова, называет этот текст подделкой конца XIII в., считая сам факт подделки показателем статуса, который формальная документация приобретает к концу XIII в. В настоящее время, однако, гипотеза о подделке не подтверждается: в памятнике вполне надежно выявляется использование новгородского акта конца XII в. [Флоря 1999: 90—94], которому, возможно, предшествовал еще более ранний устав, действительно изданный Всеволодом Мстиславичем [Гиппиус 2004]. Вообще же XII в. предстает как время весьма активной деятельности по изданию и переработке княжеских уставов и не только не уступает в

этом отношении следующему столетию, но даже превосходит его (к чему мы вернемся чуть ниже).

С. Франклин признает, что сохранившиеся формальные документы домонгольского времени — лишь часть того, что реально существовало, и что косвенные свидетельства летописей и берестяных грамот приоткрывают завесу над «скрытым миром пергамена» в административной сфере (в этом отношении точка зрения автора существенно изменилась по сравнению с более категоричной позицией в работе [Franklin 1985]). Этот мир пока только начинает открываться, и возможные масштабы его не следует недооценивать. Одним из древнейших его свидетельств является берестяная грамота № 2 из Звенигорода Галицкого (начало XII в.), в которой упоминается записанное попом предсмертное распоряжение некоего Говена. По поводу этого текста автор задается вопросом: «Was Goven eccentric in getting a priest to write down what he was owed, or was this common practice?» (р. 184) Вопрос этот выглядит скорее риторическим. Отсутствие древнерусских духовных грамот столь раннего времени (литературное завещание Ярослава в Повести временных лет — не в счет) вряд ли может быть достаточным основанием для того, чтобы предполагать аномальность социального поведения, отраженного единственным пока целым берестяным текстом, происходящим с территории южной Руси.

Следует признать, что шансов сохраниться до нашего времени у древнерусского частного акта XII в. практически не было. Хранившийся в деревянном доме пергаменный документ рано или поздно сгорал вместе с этим домом⁷. Судьба благоволила к крайностям: сохранилось лишь то, что либо хранилось особенно тщательно и в особо благоприятных условиях (вроде данной Варлаама Хутынского, безусловно имевшей, помимо своего юридического смысла, также значение монастырской реликвии, или записанной на стене Софии Киевской записи о покупке Бояновой земли), — или не хранилось вовсе, как берестяные черновики типа недавно найденной грамоты № 818 XII в. В этих условиях косвенные (а отчасти, как видим, и прямые) показания берестяных грамот приобретают решающее значение, свидетельствуя, что и в домонгольское время практика формальной документации, хотя и не находилась на уровне, которого достигла к концу XIII в., все же не представляла собой сугубо маргинального явления, каким его для этой эпохи склонен считать С. Франклин.

Заметим также, что процесс «документализации» древнерусского общества не следует, по-видимому, представлять и как постепенное усиление документальной активности с XI по конец XIII в. Мы уже видели, что пик деятельности по изданию и редактированию княжеских уставов приходит-

⁷ Этим, кстати, проще всего объяснить тот факт, что дошедшие до нас формальные документы домонгольского времени представляют в большинстве своем пожалования церкви и монастырям: единственным надежным «архивом» в условиях деревянной Руси был каменный храм.

ся на XII в.; в следующем столетии эта деятельность возобновляется лишь ближе к его концу, когда создаются, в частности, Синодальная редакция Устава Владимира и основанный на ней вид Церковного устава Всеволода. Нечто похожее можно наблюдать и в сфере канонического права. Вплоть до 1270-х гг. мы не видим в XIII в. ничего даже отдаленно напоминающего оживленнейшее обсуждение канонических вопросов новгородским духовенством середины XII в., отраженное «Вопрошанием Кирика» (памятником, как известно, сложного состава, включающим вопросы самого Кирика, Саввы и Ильи).

Сходное развитие демонстрирует и хронологическое распределение известных к настоящему времени берестяных грамот. Отражающая его в высшей степени выразительная диаграмма [см.: Зализняк 2002: 608] показывает бурный рост письменной активности на протяжении всего XII в.; после этого число грамот резко падает до уровня 1110-х гг. и остается на нем до начала третьей четверти XIII в., когда кривая начинает вновь ползти вверх.

Может быть, и всплеск актового делопроизводства во второй половине XIII в. не был первым в своем роде? Тот факт, что формальные документы начинают регулярно появляться среди берестяных грамот только в XIII в., может объясняться не тем, что до этого подобные документы не писались или создавались в очень незначительном количестве, а тем, что такие тексты не доверяли бересте. Одно из упоминаемых С. Франклином свидетельств «скрытого мира пергамента» — грамота № 831, заканчивающаяся указанием *пърьпеса во на харатью, послѣ жь*, — наглядно демонстрирует уровень требований, предъявлявшихся в это время к тексту официального характера. Изменение положения дел в XIII в. выглядит в таком случае одним из проявлений общего понижения уровня письменной продукции этой эпохи. Как бы ни расценивать такую возможность, оживление, наблюдаемое в русской письменности второй половины — конца XIII в., вряд ли может быть адекватно интерпретировано без учета изменений противоположной направленности, фиксируемых в первой половине этого столетия.

Как можно было заметить, высказанные критические соображения во многом опираются на факты и свидетельства, ставшие известными и введенные в научный оборот в течение последних нескольких лет. Некоторые из них уже успели отразиться в содержании книги С. Франклина и даже отчасти повлиять на ее концепцию. Упрек автору в недостаточном учете этих новейших данных был бы несправедлив: книга и так представляет собой образец концептуального исследования, опирающегося на максимально полный охват современного состояния источников. В этом качестве она безусловно послужит надежной основой и отправным пунктом для дальнейших разысканий в данной области.

Литература

Белецкий 1997 — С. В. Белецкий. Начало русской геральдики (знаки Рюриковичей X—XI вв.) // У источника. Вып. 1. Сб. ст. в честь чл.-корр. РАН С. М. Каштанова: В 2 ч. М., 1997. С. 93—171.

ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949.

Гиппиус 2003 — А. А. Гиппиус. К истории текста Церковного устава Всеволода // Новгород и Новгородская земля. История и ареология. Вып. 17. Великий Новгород, 2003. С. 163—173.

Глазырина 2002 — Г. В. Глазырина. Сага об Ингваре Путешественнике. М., 2002.

ДКУ — Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. М., 1976.

Живов 1988 — В. М. Живов. История русского права как лингвосомиотическая проблема // Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Columbus (Ohio), 1988. С. 46—128.

Живов 2000 — В. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2000.

Зализняк 2002 — А. А. Зализняк. Древнерусская графика со смешением *ъ* — *о* и *ь* — *е* // Русское именное словоизменение: С прилож. избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002. С. 557—612.

Ковалев 2003а — Р. К. Ковалев. К вопросу о происхождении сорочка: по материалам берестяных грамот // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Материалы междунар. конф. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 57—72.

Ковалев 2003б — Р. К. Ковалев. Деревянные долговые бирки-сорочки XI—XII вв.: Из новгородской коллекции // Новгородских исторический сборник. Вып. 9 (19). СПб., 2003. С. 28—35.

Медынцева 2000 — А. А. Медынцова. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века. М., 2000.

Миура 2003 — К. Миура. Попытка сравнительного анализа русских берестяных грамот и японских мокканов // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Материалы междунар. конф. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 235—252.

Нефёдов 2001 — В. С. Нефёдов. Археологический контекст «древнейшей русской надписи» из Гнёздова // Археологический сборник. Гнёздово: 125 лет исследования памятника. М., 2001. С. 64—67. (Труды ГИМ. Вып. 124).

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. 1. М., 1997; Т. 4. Ч. 1. М., 2000.

Факкани 1999 — Р. Факкани. Graeco-Novogorodensia. I // Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина. М., 1999. С. 329—337.

Факкани 2003 — Р. Факкани. Некоторые размышления об истоках древненовгородской письменности // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Мате-

риалы междунар. конф. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 224—234.

Флоря 1999 — Б. Н. Фл о р я. К изучению Церковного устава Всеволода // Россия в Средние века и раннее Новое время: Сб. ст. к 60-летию Л. В. Милова. М., 1999. С. 83—96.

Франклин, Шепард 1996 — С. Ф р а н к л и н, Дж. Ш е п а р д. Происхождение Руси. 750 — 1200. СПб., 2000.

Франклин 2002 — С. Ф р а н к л и н. По поводу «интеллектуального молчания» Древней Руси // *Russia mediaevalis*. 10 (2002).

Щапов 1991 — Древнерусские письменные источники X—XIII вв. / Под ред. Я. Н. Щапова. М., 1991.

Янин 1991 — В. Л. Я н и н. Новгородские акты XII— XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991.

Янин 2001 — В. Л. Я н и н. У истоков новгородской государственности. Великий Новгород, 2001.

Burgmann 1992 — L. B u r g m a n n. Zwei Sprache — zwei Rechte. Zu einem Versuch einer ligu-semiotischen Beschreibung der Geschichte des russischen Rechts // *Rechtshistorisches Journal*. 1992. 11. S. 101—122.

Franklin 1985 — S. F r a n k l i n. Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum* 40 (1985). P. 1—38.

Franklin 2003 — S. F r a n k l i n. Byzantium — Rus — Russia. Studies in the Translation of Christian Culture. Aldershot: Ashgate, 2003 (= *Variorum Collected Studies Series*, 754).

Franklin, Shepard 1996 — S. F r a n k l i n, J. S h e p a r d. The Emergence of Rus 750 — 1200. London; N. Y., 1996.